

20.03.1984

Напомню смысл того, чем мы занимаемся; и этот смысл одновременно есть причина, почему все то, чем мы занимаемся или будем заниматься, имеет к нам самое непосредственное отношение — не потребительски-эстетическое (мы так обычно читаем книги), а жизненное, непосредственное. Причина, или смысл, того, чем мы занимаемся, состоит в том, что роман, или текст, с которым мы имеем дело, — это роман, как я говорил, желаний и мотива, роман самостановления человеческого существа, роман воспитания чувств. (Мы знаем, что есть такая традиционная форма романа в европейской литературе (да и не только в европейской). Напомню, что в европейской литературе гетевский роман «Вертер» — это роман воспитания чувств, или флоберовский роман — он так и называется: «Воспитание чувств» — или чувственности.)

Переводя на язык, более близкий к современному тексту, к нам, я не буду употреблять термин «роман воспитания чувств», потому что он звучит как-то очень педагогически, а то, чем мы будем заниматься, очень далеко от педагогики и от литературоведения тоже. Я буду называть это романом Пути (Путь с большой буквы) или романом освобождения, чтобы вызвать в наших головах и в наших душах ассоциации с существующими традициями; скажем, с религиозной традицией, в которой есть термин «спасение» или «освобождение». Слово «путь» также имеет смысл — не просто обыденный путь жизни, а путь спасения, или, если угодно, путь искупления. Чем больше вы будете прикладывать к этому традиционные термины, существующие в текстах, называемых Священными, тем скорее это облегчит работу вашего собственного усвоения того, о чем я буду рассказывать. Это, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они пригодятся нам для того, чтобы понять смысл того, о чем идет речь.

Итак — путь прихождения к себе, или, обыгрывая возможности языка, можно сказать так: путь такого прохождения жизни, в результате которого ты приходишь к себе и реализуешь себя. Основной движущий мотив и пафос и страсть Пруста состояли в том, что можно резюмировать словами «реализовать себя», то есть реализовать себя во всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть, но ты их не знаешь, природа их тебе непонятна. А реализовать то,

природа чего непонятна, невозможно; если ты не поймешь своих собственных желаний, то ты себя не реализуешь, — поэтому для Пруста, и для любого человека, наверно, слова «реализовать себя» совпадают со словами «понять, кто ты есть на самом деле и каково твое действительное положение».

Я уже упоминал в прошлый раз Фолкнера, который говорил, что самая большая трагедия человека, когда он не знает, кто он и какое он занимает место. Мы знаем, что Фолкнеру понадобилась весьма усложненная форма письма (то есть писания), или текста, чтобы в различных временных пластах реконструировать действительный смысл тех ощущений и состояний, которые человеком испытываются сейчас, в данную минуту, но они непонятны по своей природе, непонятны по своему смыслу, по своему значению, если ты их не развернул в реконструированные пласты и корни, уходящие очень далеко от тебя.

Французский поэт XX века Поль Валери говорил: «Мои чувства приходят ко мне очень издалека», или «мои состояния идут ко мне очень издалека»¹. Вообще человек есть существо далекого; то, что он испытывает сейчас, здесь, ему кажется самодостаточным, — вот, например, я вижу блокнот, значит, кажется, это акт, за который дальше идти не нужно, он сам себя исчерпывает, он самодостаточен — так мне кажется, — а в действительности даже то, что я вижу сейчас блокнот, идет — как мое теперешнее состояние в эту минуту — издалека.

Вспомним тот пример, который я приводил: Сен-Лу смотрит на Рашель так же, как я смотрю на этот блокнот, но то, как он видит Рашель, идет к нему не из этой секунды, не из того, что он видит сейчас, а идет к нему издалека, в том числе из мира мечтаний, из мира высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое лицо Рашель, и он видит в *этом* отблеске, но ему-то кажется, что он видит нечто самодостаточное; он видит реальную Рашель, которая как будто наделена теми качествами, которые он видит, — он видит прекрасную женщину. А она — как мы выяснили в прошлый раз, — если посмотреть на нее другими глазами или из другого далека (можете удержат эту метафору), не такая; значит, Сен-Лу идет к тому, чтобы увидеть Рашель из своего далека, а Марсель, смотрящий на Рашель, идет из своего (другого) далека; и в этом «далеко» он видит двадцатишестую проститутку на месте того лица, где Сен-Лу видит божественную женщину, «пуп земли».

Это непростая вещь — видеть то, что видим, и поэтому, когда я говорю, что прустовская мания — это мания «реализовать себя»,

¹ «La vie des parties de l'être vivant déborde la vie de cet être. Mes éléments, même ceux de mon esprit, sont plus antiques que moi. — Mes mots viennent de loin» — Valéry P. Œuvres. T. II. Paris: Gallimard, 1960. P. 1514.

она (эта фраза) у Пруста почти тождественна другой фразе, которая тоже очень часто повторяется на всем протяжении романа, и вы не сразу уловите, почему эти фразы могут быть тождественными. Одна — «реализовать себя». А вторая фраза следующая, она звучит примерно так (Пруст ее повторяет в разных сочетаниях, но смысл всегда примерно один и тот же): обязанность писателя, — возьмем в этой формуле — реализовать впечатление (или в других случаях «обязанность человека», «задача моего “Я”» и так далее)². Ну какая может быть связь между «реализацией себя», которой мы придаем общий смысл (скажем, стать человеком, стать взрослым и так далее), и «реализацией впечатления»? Это совпадает (и я дальше буду показывать, насколько существенно совпадает) в том, что я буду называть реальностью. Пруст говорил, что единственная настоящая философия — это та, которая состоит в восстановлении или узнавании того, что «есть на самом деле»³. Тогда оказывается, что философия — не какое-то учение или учебное книжное занятие, а часть нашей жизни, потому что если фи-

² III (T.R.) — p. 890 (6:OB:209) — ...главную, единственную настоящую книгу крупному писателю не приходится сочинять в прямом смысле этого слова, потому что она существует уже в каждом из нас, он должен просто перевести ее. Долг и задача писателя сродни долгу и задаче переводчика.

Хотя нет, впрочем, иногда приходится, когда мы имеем дело с неточным языком — к примеру, языком самолюбия, тогда коррекция искаженной внутренней речи (которая все дальше отдалается от первого, основного впечатления), пока она не начала сливаться с прямой линией, исходящей из самого впечатления, — эта коррекция довольно затруднительна, ведь против нее восстает наша собственная леность; или вот еще, к примеру, любовь, тогда это же самое выпрямление становится весьма болезненным.

Ibid. — p. 896 (6:OB:209) — ...работа художника — пытаться увидеть за материей, за опытом, за словами нечто другое — работа, совершенно противоположная той, что совершается в нас каждое мгновение, когда мы, словно предав себя самих, оказываемся во власти самолюбия, страстей, рассудка и привычек, которые загромождают, а в конечном счете и прячут совсем наши истинные ощущения под грудой всякого рода терминологий, практических целей, что мы ошибочно называем жизнью. В сущности, это сложное искусс-

во — единственно живое искусство. Оно одно лишь способно выразить для других и заставляет нас самих увидеть нашу собственную жизнь, эту жизнь, которая не в состоянии «наблюдать себя сама», а когда наблюдают за ней, ее проявления нуждаются в переводе и слишком часто оказываются прочитаны неправильно и с трудом поддаются расшифровке. А ту работу, которую проделали наше самолюбие, страсть, дух подражания, наш абстрактный разум, наши привычки, искусство переделает заново, это движение в обратном направлении, это возвращение к глубинам, где все то, что существовало в реальности, осталось неведомо нам, а теперь должно быть открыто заново.

Какое это огромное искушение — попытаться воссоздать истинную жизнь, обновить прежние ощущения! Но для этого необходима смелость всякого рода, и даже смелость чувств.

S.B. — p. 309 — *Ne pas oublier: la matière de nos livres, la substance de nos phrases doit être immatérielle, non pas prise telle quelle dans la réalité, mais nos phrases elles-mêmes et les épisodes aussi doivent être faits de la substance transparente de nos minutes les meilleures, où nous sommes hors de la réalité et du présent. C'est de ces gouttes de lumière qu'est fait le style et la fable d'un livre.*

³ Ibid. — *Toute ma philosophie revient, comme toute philosophie vraie, à justifier, à reconstruire ce qui est.*

лософией называется наша способность установить, что есть на самом деле, в том числе в наших чувствах, то, следовательно, философия есть элемент того, какими будут наши чувства или состояния после того, как мы установили, что они значат на самом деле, или реализовали себя, или реализовали впечатление.

Скажем, с точки зрения Пруста и с нашей тоже (я буду все время это совмещать, потому что моя задача показать, что то, что говорит Пруст, это то, что могли бы сказать и мы, если бы подумали, просто он подумал немножко раньше и целую книгу написал, а мы думаем немножко позже, но мы можем воспользоваться написанным как духовным инструментом, чтобы заглянуть посредством этого оптического инструмента в свою собственную душу и в свой собственный опыт), Сен-Лу, имея впечатление о Рашель, не реализовал впечатления, то есть не раскрыл его, в том числе не прошел в то далеко, из которого Рашель видна так, как она видна, то есть как самая прекрасная женщина на свете. Не реализовав впечатления, он не реализовал и себя в своих чувствах, он оказался — чем? — марионеткой совершенно случайной ситуации, то есть рабом своих собственных состояний.

Всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свободного человека, в том числе свободного от привидений, которые вырастают из твоей собственной души. Поэтому философы считают (прошу прощения, если я буду все время так отклоняться в сторону, но это не отклонения, а то, что связано с нашим занятием), что человек, человеческое существо свободно в абсолютном смысле слова. Почему? Потому что если оно зависимо или является рабом, то только рабом своих собственных привидений, которые выросли из его собственной души; это не мир делает его рабом — по отношению к миру человек свободен абсолютно, — корни его рабства уходят в него самого. Корни рабства Сен-Лу (в данном случае рабство — это то же самое, что и не реализовать себя) уходят в его неспособность реализовать свое собственное впечатление, то есть разобраться в том, что же он чувствует на самом деле и можно ли приписать испытанное им чувство качествам Рашель — такова ли она в абсолютном смысле, то есть своими достоинствами не может не вызывать любви к ней, или не такова. Вся философия Пруста состоит в том, чтобы доказать, что такого быть не может: нет таких качеств людей, из которых вытекают бы наши к ним (к этим людям) отношения. Ведь любая женщина как объект любви заменима как минимум тысячами других.

Напомню слова Аристотеля, чтобы вы не воспринимали эту фразу как обыденный текст; это текст, в котором я ищу смыслы. Чтобы поставить нас на путь смысла, я приведу одну его фразу; в свое время Аристотель очень хорошо сказал, что причина, по-

чему я люблю, гораздо важнее объекта любви⁴. Он имел в виду, что, любя человека, мы любим в действительности нечто другое, не совпадающее с качествами этого человека, и, следовательно, наоборот, из качеств того, кого мы любим, невыводимо наше состояние; оно не ими рождено. Если бы это было иначе, то мир был бы совершенно непонятен, ведь нет никакой логики в том (если призадуматься), что если некий человек *A* обладает свойствами *B*, то у меня, человека *C*, должно быть состояние любви к нему, — нет логики просто потому, что я могу любить человека *A*, а вы можете его не любить, хотя у него все те же качества. (Мы переходим на тему субъективности любви, но пока она для нас не важна.)

Значит, я повторяю снова, разъясняя, слово «реализация» — реализация себя, или прихождение к себе. Это можно сформулировать и в виде другого, тоже очень интересного, кстати, вопроса, который, возможно, покажется банальным. Вопрос звучит так: тема романа Пруста состоит в том, как мы вообще вырастаем, и вырастаем ли вообще, то есть становимся ли мы вообще взрослыми, или мужчинами. (Здесь, кажется, преимущественно женское общество, но я уже в прошлый раз употреблял слово «мужчина» в смысле человеческой доблести и позволю себе применять дальше. Надеюсь, среди вас нет феминисток, которым свойственно обижаться на выражение мысли (а это именно выражение мысли, а не отношения); они бывают очень подозрительны к любым словосочетаниям, где фигурирует слово «мужчина».)

Для Пруста, как я уже сказал, главная проблема — вырасти, стать мужчиной, она сводится к тому вопросу, обижаемся мы на мир или не обижаемся. Ведь что значит не быть взрослым, не быть мужчиной? Очень простая вещь — считать (и вы сейчас легко узнаете то, что я буду говорить, как структуру многих явлений, с которыми вам приходилось сталкиваться), что мир «центрирован» (как говорят по-грузински — დაცენტრირა⁵) на нас, он создан для того, чтобы нас или обижать, или гладить по головке.

Мы знаем прекрасно, что детская психология и состоит в эгоцентризме — когда ребенок воображает себя центром мира в том смысле, что все, что в мире происходит, происходит для того, что-

⁴ «Предмет, вызывающий любовь (*philēton*), не то же самое, что предмет, требующий к себе любви (*philēteon*), равно как и желанное (*boylēton*) не то же самое, что желательное (*boylēteon*). Желанное — это благо как таковое, желательное — благо, которое хорошо для данного человека. Так и предмет, вызывающий любовь, — благо само по себе, а требующий любви — благо для самого данного человека; поэто-

му предмет, требующий к себе любви, всегда может быть вместе и вызывающим к себе любовь, но предмет, вызывающий любовь, не совпадает с требующим к себе любви». — *Аристотель*. Большая этика / Пер. Т.А. Миллер // *Аристотель*. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 361–362.

⁵ Зациклиться на чем-либо, на ком-либо.

бы или доставить ему удовольствие, или обидеть его; он очень подозрителен, и все события имеют для него, так сказать, знаковую природу, все они что-то означают по отношению к нему. Поэтому мы и говорим (хотя это тавтология): ребенок инфантилен. Ребенок есть ребенок, ну а когда взрослые таковы? Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите общество, состоящее из — я бы сказал... дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте и которые воспринимают весь окружающий мир (все, что не есть мы сами) так, как будто всё в нем происходит по отношению к ним, а не само по себе. Даже цветок в мире, с точки зрения ребенка, не растет сам по себе как автономное явление жизни, он направлен, он для нас; или — вокруг темно и копошатся демоны, которые окружают наш светлый остров, — конспирации, заговоры, намерения по отношению к нам.

Первый же философский акт вырастания состоит в следующем утверждении... Кстати, я сейчас вспомнил, что ту фразу, которую я хотел сказать, в свое время сказал Людвиг Витгенштейн: мир не имеет по отношению к нам никаких намерений⁶ — это взрослая точка зрения. А ведь мы знаем, что взрослые могут вести себя по-детски — вспомним, что один персидский царь, которому было угодно завоевать Грецию, отправил флотилию в Грецию, а в это время разбушевалось море и потопило всю его флотилию, и он приказал высечь море — смешной акт. Подумаем о себе, сколько раз мы высекаем море, или высекаем мир, потому что нам кажется, что у мира были по отношению к нам намерения, как у моря по отношению к Ксерксу (у моря, которое потопило его флот).

Вот эту тему «вырастания — невырастания» мы потом увидим в существенных деталях. Заранее предупреждаю, что далее буду описывать маленькую сценку из прустовского текста, которая кажется совершенно, ну, как французы называют — *anodine*⁷, пресной, без значения, и мы не видим, а видеть надо, хотя бы потому, что Пруст для этого и написал этот текст, чтобы мы увидели. Это сцена в отеле, в ней описывается то, как мальчик, привыкший жить все время дома, под крылышком у матери, оказывается в отеле, и он долго не может заснуть, потому что все вещи — шкаф, кровать, окно — на него наступают, они его давят своим присутствием, они ему кажутся живыми и злонамеренными по отношению к нему⁸. За этим стоит целая философия, а я из нее помечу два пункта.

⁶ «С точки зрения высшего совершенно безразлично, как обстоят дела в мире. Бог не обнаруживается в мире». — Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. с нем. М.С. Козловой и Ю.А. Асеева // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С. 71.

⁷ Безобидный, незначительный, бесцветный.

⁸ I (J.F.) — р. 665–667 (1:ДЦ:796–797) — Мне хотелось бы по крайней мере прилечь на минуту на постель, но к чему бы это было, если я все равно не нашел бы покоя для той совокупности ощущений, которую всегда представляет собой наше если не материальное, то сознающее себя тело... (...) Меня мучили своим при-

Первое, что я хочу сказать: мы имеем дело с человеком, который проделал труд мысли (прустовский труд — это труд мысли), а изложенный текст — это история мысли⁹. Это, кстати, славная, хорошая французская традиция; в свое время еще один великий философ по имени Декарт написал ученое «Рассуждение о методе», но оно писалось — и Декарт сам об этом говорил — как история его мысли, или история воспитания чувств, если угодно, или роман воспитания чувств, или роман реализации себя, прохождения пути, который записан как живой опыт; в данном случае — живой опыт мысли.

Я уже говорил «реализовать впечатление». Так вот, реализовать впечатление для Пруста означает, что впечатление имеет смысл описывать, если ты берешь его как знак некоего скрытого и глубокого закона, стоящего за этим впечатлением. Как мы реализуем себя, с точки зрения Пруста? Вот я испытываю то, что немцы называют *Unbehagen*, какое-то неудобство, в комнате, и если я ребенок, то, конечно, считаю — потому что шкаф плохой, а Пруст, который хочет вырасти, находит правильный путь для вырастания. Какой путь? Не брать это состояние как неудобство, раздраженность, которые я испытываю и которые легко приписать качествам объекта (я могу плохому шкафу приписать то, что я не могу спать в комнате, где он стоит, так же как качествам женщины, которую я люблю, могу приписать то, что я ее люблю, — это одинаковые состояния). Более того, фактически, сказав то, что сказал, я сформулировал литературную задачу: Прусту было бы скучно ощущения, которые мы испытываем, состояния, в которых мы находимся, описывать как предмет литературного труда, если бы это описание не имело задачи, совпадающей с жизнестроительной задачей (в данном случае литературная задача совпадает с жизнестроительной), и если бы не ставилась задача установить скрытый смысл того, что я испытываю, или закон, который связан у Пруста с пониманием, с загадкой им природы времени и природы того, что я назвал трудом жизни (в том отрывке, который я буду цитировать и который связан с комнатой в отеле, наглядно этот закон установлен).

существом книжные шкапики со стеклянными дверцами, тянувшиеся вдоль стен, но особенно — большое зеркало на ножках, которое стояло поперек комнаты и без удаления которого, я это чувствовал, мне будет невозможно передохнуть. (...) Лишенный теперь и вселенной, и комнаты, и тела, которому угрожали обступившие меня враги, до мозга костей охваченный лихорадкой, я был один, мне хотелось умереть.

⁹ Descartes R. *Discours de la méthode* // Descartes. *Œuvres et Lettres*. Paris: Gallimard, 1953. P. 126–127.

«Мое намерение состоит не в том, чтобы научить методу, которому каждый должен следовать, а только в том, чтобы показать, каким образом старался я направить свой собственный разум». — *Декарт Р.* Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину / Пер. с фр. А.П. Юшкевича // *Декарт Р.* Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 252.

И второе, связанное с темой закона: если есть впечатление (то, которое мы должны реализовать), то реализация впечатления означает — установить скрытый закон (а он всегда скрытый). Точно так же то, что нас притягивает в человеке и называется любовью, скрывает некий закон, то, что на нас так давит шкаф, скрывает какой-то закон, — и тогда это описание имеет смысл, то есть оно интересно и как литературное описание, и как элемент прохождения пути спасения или освобождения. Ведь мы знаем, что если человек так зависит от шкафа, то он, конечно, несвободен (даже в обыденном смысле это ясно), а быть свободным неплохо...

Значит, у Пруста устойчиво повторяется, если говорить только о терминах, слово «закон» (мы услышим это в десятках вариаций), он даже в суждениях о других поэтах и писателях интересовался только этой темой: закон — насколько другой открыл какие-либо законы психологической жизни. Скажем, он говорил о Нервале (Жерар де Нерваль — романтический поэт XIX века; у Пруста, который очень любил этого поэта наряду с Бодлером, есть о нем маленькая заметка): «Говоря о Нервале, я могу, по меньшей мере, назвать десять законов, которые он установил»¹⁰. Под «законами» Пруст, конечно, имел в виду скрытый смысл или скрытый механизм того, что на поверхности я испытываю в виде любви, раздражения, восторга, радости и так далее. В том числе радость имеет значение только тогда — почему я радуюсь? — когда я могу за этим увидеть, установить некий скрытый смысл.

Второе, что так же устойчиво повторяется, оно покажется вам странным, это — тема, или слово «телескоп». (Кстати, то, что я хочу сказать, будет и для вас хорошим предупреждением для чтения прустовского текста. Я все время предполагаю совершившимся то, гарантий для совершения чего почти нет, потому что текст, хотя он и есть на две трети в русском переводе, вам недоступен, поскольку в книжном магазине его купить нельзя.)

Итак, следующее предупреждение: со дня выхода романа по сегодняшний день продолжается традиция, в которой Пруст рассматривается как мастер деталей — мастер подробного, детальнейшего до мелочей описания предметов. Вот если он испытывает какое-нибудь чувство, значит, он его детальнейшим образом описывает, настолько, что иногда описание может казаться скучным; это какое-то особое устройство взгляда — глаз, который до малейших деталей видит то, что мы видим как бы крупно. Бедняга Пруст всю свою жизнь сражался с этим призраком, который возник перед ним и который тоже назывался Прустом; живой, реаль-

¹⁰ S.B. — p. 239 (СБ:56) — Я могу перечислить эти таинственные закономерности мысли (...) я мог бы насчитать их с полдюжины...

ный Пруст сражался с призраком Пруста, который есть детальный описатель, или мастер деталей, тонкостей, нюансов и прочего. Он говорил: да нет, никакими деталями я не занимаюсь, никакие детали меня не интересуют, — меня интересует что-либо, любое явление, только в той мере, в какой за этим явлением стоит некий общий закон¹¹.

Более того, Пруст как раз в этом пункте произвел некоторую революцию, или поставил ту проблему, которая до сих пор является проблемой в литературной стилистике XX века: я назвал бы ее проблемой бессмысленной бесконечности описания. Дело в том, что описание само по себе не содержит критериев, которые диктовали бы нам, где остановиться в описании, предмет можно описывать бесконечно — это феномен бесконечности описания; и более того, все предметы описываются произвольно.

Литераторов XX века стала смущать фраза, которая в XIX и других веках казалась безобидной и само собой разумеющейся: «Маркиза вышла из дома в пять часов пополудни», или в пять часов вечера — почему в пять часов, а почему не в шесть часов? Или, скажем, герой X вышел из дома и пошел по улице направо (это описание); но почему, собственно, направо? — с таким же успехом он мог пойти и налево. Эта тема, кстати, появляется у Набокова, если касаться русской литературы; многие его тексты (рефлексивные тексты) построены как литературный текст, внутри которого обыгрывается свойство построения литературного текста вообще — обыгрывается, или он иронизирует, — это как бы текст в квадрате, во второй степени, текст о тексте. Ему было действительно смешно: почему, собственно говоря, я должен описывать, какой смысл в описании, что трамвай прошел слева направо, когда я вполне могу написать, поскольку это текст, а не реальное событие, что он пошел справа налево или герой пошел не налево, а направо. Какой смысл в этих описаниях? Более того, какой в них самих по себе критерий, что я должен поставить точку, что я исчерпал описание? Если я привел энную, скажем, десятую, деталь, то всегда можно привести одиннадцатую, добавить к десятой, а к одиннадцатой добавить двенадцатую и так далее, — все это не имеет смысла. Кстати, довольно интересная проблема, но слишком литературоведческая, а меня интересуют более близкие

¹¹ III (T.R.) — p. 1041 (6:OB:369) — Даже те, кто были благосклонны к моему осмыслению истин, которые я собирался высечь на фронтоне храма, и поздравляли меня, уверяя, будто я показал им их самих «под микроскопом», между тем как я, напротив, пользовался телескопом, чтобы разглядеть вещи вроде бы совсем кро-

шечные, но казавшиеся мне таковыми потому лишь, что находились на слишком большом от меня расстоянии, в действительности же каждая из них была целым миром. Там, где я пытался отыскать общие законы, меня называли крохобором [*fouilleur de détails*].

к экзистенции проблемы, или экзистенциальные проблемы (снова прошу прощения за редкий случай употребления мною специального философского термина).

Вернусь к тому, что я хотел сказать... Пруст в этих случаях говорит: «Да не детали я описываю, мой инструмент описания — не микроскоп, а телескоп». А что такое телескоп? Телескоп — это увидеть то, что есть на самом деле большое, крупное, но кажется нам мелким. Например, в телескоп мы видим Солнце, оно ведь — не маленький кружочек величиной с монету на нашем небе, это громадная звезда, светило, а мы видим его маленьким. Таким же маленьким нам кажется... вот я ворочаюсь в постели и не могу заснуть в отеле, где вещи злобно на меня наступают, у них появляются почти что человеческие очертания, враждебные, — это ведь мелочь, то есть как состояние — мелко, но описывать его можно, только если ты смотришь на него в телескоп: видишь большое там, где другие видят малое, мелочь, ерунду. Кстати, это совпадает вообще с тем, какова природа философского мышления: философское мышление как таковое состоит в том, чтобы увидеть то, на что смотрят и другие, но увидеть за этим нечто крупное, стоящее сзади. Поэтому, скажем, философии, так же как и такого рода литературному таланту, как у Пруста, нельзя учить. Вот, представим себе, была бы школа, называемая школой шутовства... Чем шут отличается от человека? — в цирке и мы, и шут видим один и тот же предмет, но он видит его так, как видит шут, он видит то, на что мы не обращаем внимания; оно проходит как нечто само собой разумеющееся, мелкое, незаметное, мимо нашего взгляда, а шут за этим что-то видит, но научить этому нельзя, — так и философии нельзя научить, нельзя научить и такого рода литературному взгляду, но можно его понять и усвоить.

Значит, телескоп — это инструмент, который позволяет мне увидеть любые состояния как знак других состояний. В том числе то, как видит Сен-Лу Рашель — мелкое событие в жизни (совершались миллионы таких мелких актов, когда кто-то кому-то казался красивым и прекрасным), но за этим можно увидеть закон, как устроены мы сами, то есть как устроена наша психологическая жизнь, как работает наш механизм сознания, — вот что называется телескопом. Это, конечно, особый дар, особое качество взгляда (зависящее от устройства глаза) Пруста — так же, как устройство шута, который в том же предмете, на который смотрим и мы, видит то, что *он* видит; и вдруг мы смеемся, и смеемся неожиданно, потому что увидеть крупное — неожиданно (как мы знаем, прежде всего неожиданность есть механизм смеха).

Так вот, я это все не просто напомнил — как принято, доктринарно, когда читаются лекции, резюмировать и так далее, — а что-

бы еще как-то настроить нас, это была моя задняя мысль. В прошлый раз я остановился на том, что назвал трудом жизни — вот этой темой мы должны заняться, но, конечно, нам нужно расположить наши батареи для подхода к ней. Одним из таких действий расположения батарей было все то, что я говорил перед этим.

Мы установили в прошлый раз (может быть, за обыденным характером примеров это было незаметно или не заметно сразу; теперь я напомним, чтобы это закрепить), что всякое явление, любое нечто должно иметь некий смысл, иначе оно «звук пустой» — не воспринимается. Теперь я выражусь более сложно, правда, но и более эффективно, поэтому это будет более понятно: представим себе, что мы имеем дело с двумя пространствами — пространство номер один и пространство номер два. Пространство номер один — это пространство, в котором возможны человеческие события; пространство номер два — это пространство, в котором человеческие события невозможны и не происходят; второе пространство назовем безразличным.

Скажем, Сен-Лу в театре (место, где он впервые видит Рашель) смотрит на Рашель. Рашель — это физическое явление, то есть человеческое существо, обладающее определенными физическими качествами, которые можно видеть, но взгляд Сен-Лу упал не на физический предмет, а на лицо, заполненное отражением высоких мечтаний, мечтаний о прекрасном, с которым мы связываем театр и так далее. Значит, это есть пространство номер один, в котором возможно событие, в данном случае — волнение Сен-Лу: Рашель для него небезразлична, но потому небезразлична, «не пустой звук», что она увидена им в пространстве театра. И случилось в этом пространстве событие эмоциональной жизни Сен-Лу.

Обратим внимание, что я не случайно употребляю термин «событие»: все то, что мы испытываем, есть события; они имеют свои ниточки, по которым они случаются или не случаются. Мы даже волнуемся по законам событий. Мы ведь не всегда волнуемся (более того, мы ведь знаем, что нельзя произвольно, по желанию волноваться), а волнение для человека довольно большая ценность, кстати говоря. Часто в ситуациях — я в прошлый раз это затрагивал, — когда мы по формальным или предметным критериям должны были бы волноваться, мы холодны как камень, равнодушны — за этим стоит некий закон; это ведь нельзя просто списать, тем более что от этого очень многое в нашей жизни зависит. Я опять предлагаю прустовский телескоп, то есть за незначительным (что есть более незначительное, чем то, как мы волнуемся, когда волнуемся, почему мы не волнуемся и так далее?), за фактом, что я не взволнован, можно увидеть действие законов, довольно интересных и значащих что-то в нашей жизни.

Возвращаюсь к тому, что сказал: Сен-Лу — в пространстве событий, а Пруст — не в пространстве событий, то есть в данном случае — Марсель, герой романа. (Не писатель, а герой романа, который совпадает частично с писателем; сейчас это не важно, назовем его Марселем; он фактически даже имени в романе не имеет.) Для Пруста или для Марселя (видите, как я оговариваюсь) — он видит Рашель — не происходит никакого события, а если происходит, то совсем другого рода: связанное с тем, что он начинает думать о том, почему Сен-Лу волнуется и событийно видит Рашель, но для него самого Рашель в безразличном пространстве (которое мы назвали безразличным), то есть Рашель имеет там смысл только, как выражается Пруст, «общих значений»¹². У всех у нас есть в этом безразличном пространстве — оно ведь не абсолютно безразлично, оно безразлично с точки зрения нашей проблемы — общие значения: есть выражение лица (общечеловеческое явление), выражение глаз, красота или безобразие — нечто, так сказать, имеющее смысл, но в смысле общих актов. Красота может быть и у *A*, и у *B*, и у *C*; некое выражение лица может быть у одного человека, у третьего, четвертого, миллионного, — все это имеет значение в смысле общих актов, которые заданы словами, то есть описанием.

Забегая вперед, я дам маленькую ниточку, которую сейчас не могу развернуть. Все эти явления безразличны, потому что они не индивидуализированы: они имеют значение в смысле общих знаков или общих актов, за ними нет индивида. А для Сен-Лу Рашель уникальна; ее лицо — носитель не каких-то общих событий в смысле значащих, общих актов, а — совершенно уникальных, которые, кстати, мы называем словом «шарм». Шарм есть нечто, что присуще только индивиду и что невыразимо, то есть то, что нельзя воссоздать путем сочетания общих слов или общих значений. Как бы вы ни описывали, а описание всегда будет в общих словах, вы никогда не передадите шарма (после длинного описания вы махнете рукой и скажете: «Да нет, это нужно почувствовать»).

Значит, мы установили, что нечто не имеет значения само по себе в том смысле, что нечто, имея общее значение, не существует в пространстве событий, — это так же, как — и даже Пруст эту метафору приводит — «пустое лицо»¹³ в кубистической живописи

¹² II (С.Г.) — р. 159 (2:Гер:158) — Это лицо, с его взглядами, улыбками, движениями губ, я узнал, будучи посторонним наблюдателем, только как лицо некоего предмета, который за двадцать франков сделает все, что я захочу. Таким образом, его взгляды, улыбки, движения губ показались мне лишь знаками каких-то

общих проявлений, в которых ничего индивидуального нет, отыскивать же личность под этими знаками у меня не достало любопытства.

¹³ III (Т.Р.) — р. 1045 (6:ОВ:373) — Я мог бы, допустив еще большее искажение, по-прежнему пытаться накладывать какие-то черты на лицо случайной прохо-

си. Ведь не случайно в кубистической живописи вдруг появляется устойчивый образ, который проходит через очень многие произведения живописи в XX веке, — образ овала человеческого лица, не заполненного никакими чертами. Допустим, что для Марселя Рашель — кубистический овал, не заполненный никакими чертами. Это уже, конечно, абстракция. Кубизм потому делает овал незаполненным чертами, что он полагает, если на лицо женщины смотрит Марсель, который видит только общие значения, то он не видит лица, так как лицо не есть общее значение. Повторяю (это имеет значение): живописец хочет нам сказать, что если мы видим лицо в общем смысле слова (ведь все носы, хотя они различаются, есть носы, как все глаза — глаза), то мы ничего не видим, мы не видим лица (если только это видим); то есть живопись — знак чего-то, чего мы не [видим]. (...)

Итак, я сказал, разделив условно (не принимайте это как ученый термин) пространство событий (номер один) и безразличное пространство (номер два); в одном находится Сен-Лу, а в другом — Марсель. На точке соприкосновения этих пространств — лицо Рашель¹⁴, в пространстве Сен-Лу оно заполнено. Но нас, и Сен-Лу тоже, то есть того, кто находится в небезразличном пространстве, — мы как раз об этом в прошлый раз говорили — должно интересоваться, что есть на самом деле, потому что судьба Сен-Лу невидимыми путями и невидимыми ниточками будет сцепляться в колесиках механизма реальности, а не в колесиках механизма его собственных представлений. Ведь из реальности придет последствия того, что Рашель именно не такая, какой ее видит Сен-Лу.

Я уже говорил: установить, что есть на самом деле. Дело в том, что получить смысл, установить, что есть на самом деле, нам удастся, если мы построим для этого текст. Литература как частный случай текста есть часть нашей жизни в том смысле, что для того чтобы узнать, что есть на самом деле, мы должны что-то сделать; в данном случае построить текст, который породит истину. Что значит — породит истину? — придаст смысл разрозненным частям информации или событий. Скажем, Сен-Лу не может узнать истину о Рашель, потому что он не может посмотреть на нее глазами Марселя. Или выразим это иначе: он не может этого сделать,

жей, хотя было бы правильнее на месте носа, щек и подбородка просто оставить пустые места, на которых играл бы отблеск наших желаний.

¹⁴ || (С.Г.) — p. 159 (2:Гер:159) — Неподвижность этого некрасивого лица, подобно неподвижности листа бумаги, подвергнувшегося сверхмощному давлению двух

атмосфер, представлялась мне равновесием двух бесконечностей, вплотную приблизившихся к ней, но не встретившихся, ибо она разделяла их. И в самом деле: глядя на нее, мы с Робером видели разные стороны тайны.

то есть не может узнать, потому что он находится в этой точке пространства, а не в другой. Беда в том — почему речь и идет о тексте, который принесет нам истину, — что это пространство разделено. Нельзя одновременно держать вместе точку, из которой смотрит Марсель, и точку, из которой смотрю я, если я — Сен-Лу: они разделены. Здесь собрание предметных видений, того, что видят все (Сен-Лу видит ведь те же самые черты — в физическом смысле слова, — что и Марсель, просто для него смысл один, а для Марселя — другой). Дело в том, что это разделено и не может соединиться.

Текст есть то, что соединяет (это очень сложный пункт, и мне его трудно выразить), — в действительности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни (я говорил об этом на примере Набокова), а есть занятие, где само построение некоей условной, воображаемой конструкции впервые придает логику тому, что ты разделенно видел в своей жизни, и по этой логике ты узнаешь, что в действительности твой друг — любовник твоей жены. Я брал это как частный пример того, чему послужило написание текста, или конструкция текста, — можно текст не написать, можно держать его в голове. Но я имел в виду под текстом, в данном случае под литературным текстом, некое явление, событие, какую-то вещь, которая строится для того, чтобы что-то впервые получило осмысленный вид, то есть чтобы все стало на свое место.

Скажем, я видел какое-то выражение лица моей жены, слышал какую-то интонацию в голосе моего друга или встретил их на улице вместе — все это я мог приписать самым различным причинам, никакого отношения к действительности не имеющим. Так же как Эдип свое действие, состоящее в убийстве отца, приписывал дурному характеру случайного путника, которого он встретил на дороге и убил вследствие раздражения, ссоры. Выражение лица этого путника, оскорбительные (или показавшиеся оскорбительными) слова, сказанные им, — они же есть некие события. Есть еще какие-то другие события, они разрозненны, имеют только внутреннюю связь, которую я как раз не знаю — я же не знаю, что женщина, с которой спит Эдип, — его мать.

Под текстом я предлагаю иметь в виду то, действием чего все станет на свое место. Поэтому Пруст очень часто говорит о том, что некоторые воображают себе некоторую психологию (или некоторую литературу; эти вещи взаимозаменяемы в данном случае), которая была бы своего рода «наукой» о логике эмоций¹⁵, или эмо-

¹⁵ *Lettre à Louis de Robert (1913) // Revue Europe 496–497. Août-Septembre 1970. Centenaire de Marcel Proust. Paris: Europe et Messidor. P. 64.*

циональной логикой, логикой сантиментов. В данном случае «логика» не в смысле силлогизмов и правил вывода, что обычно называется логикой, а логика в моем смысле (то есть в том, в котором я хочу употребить) выражена в обыденной фразе: «по логике (логично), чтоб это было так», то есть если это так, то все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно назвать собранием. Я не случайно называю «собранием» — это русский эквивалент греческого слова «логос» (это слово в простом переводе в данном случае на русский язык означает «собрание») — набор всего относящегося к делу. Все относящееся к делу обладает логосом, который мы можем, как говорили древние греки (Гераклит в данном случае), слышать или не слышать¹⁶. Вот мы слышим «два и два», но мы не выводим «четыре», а мы очень часто этого не делаем; я говорил, что основная ситуация человека — когда он имеет дело с уже существующей истиной, в том числе о нем самом, но не видит ее, то есть он видит «два и два», а вот операция «дважды два четыре» находится за пределами его человеческих сил. Не совершается эта операция; для совершения этой операции нужен некий орган.

Так вот, когда я говорю «текст», я имею в виду фактически не литературный текст в традиционном смысле слова, а орган, то есть то, посредством чего мы видим. Естественно, орган отличается тем, что он естественным образом, без нашего усилия, видит то, что он видит, ведь орган естественным образом производит то, органом чего он является. Скажем, глаза производят зрение — и вот представим себе такие мысли или состояния, которые производились бы текстами как органами, то есть тем нечто, посредством чего мы видим. Если призадуматься и взять в живописи любой натюрморт, скажем, яблоки Сезанна, то ведь ясно, что живопись Сезанна (натюрморт) вовсе не изображает яблоки. Если мы видим то, что нарисовано у Сезанна, это означает, что мы видим этими яблоками, то есть они становятся нашим органом, посредством которого мы видим то, чего не видим нашими глазами. Там не *изображены* яблоки, там построена конструкция, посредством которой мы видим то, чего мы не видим вовсе, глядя на яблоки, висящие на деревьях. Значит (я повторяю), когда я говорю «текст», я имею в виду не изобразительный текст, или имею в виду не изобразительную сторону текста, а какую-то другую.

Давайте нащупывать эту другую сторону. Когда я говорил про логос, я при этом добавил, что текст не есть нечто, что мы читаем (мы привыкли, что когда мы употребляем слово «текст», текст есть нечто, что мы читаем, а я предлагаю другое: текст есть нечто,

¹⁶ «Эту — вот Речь (Логос) сущую вечно люди не понимают...» — Фрагменты ранних греческих философов. С. 189.

посредством чего мы читаем что-то другое), текст есть нечто, посредством чего мы читаем событие. Яблоки Сезанна есть яблоки, посредством которых мы видим то, чего мы не видели бы без этой конструкции. В данном случае конструкция романа может позволить увидеть мне (как в случае Набокова), что все явления имеют логику, если я предположу, что мой друг — любовник моей жены. Предположил — и все стало на свое место; я услышал логос, то есть то, что говорит собрание: «два и два» говорят «четыре». Я ведь говорил, что можно и не услышать, что говорят «два и два», по той простой причине, что логос это не «два и два», а логос это нечто, что заставляет меня сказать «четыре». Назовем это: внутренний смысл, внутренняя логика, — так что все стало на место. Нечто, что заставляет меня сказать: так есть на самом деле, — это логос, услышанный мною. Но в материальных частях логоса нет ничего, что само по себе *говорило* бы нам: «два» и «два», каждое в отдельности, не говорят нам, что сумма этого — «четыре».

Здесь мы пришли к очень важному пункту, который резюмирует то, что мы в прошлый раз говорили. Дело в том, что логос означает: должно быть так, мир так устроен, хотя этого мы не видим. Я не вижу, что мой друг — любовник моей жены; все, что я вижу, имеет или может иметь другие объяснения. Подчеркиваю: все, что я вижу, может иметь другие объяснения. И чаще всего мы имеем и склоняемся именно к этим другим объяснениям — они видны. Я встретил спешащую, взволнованную жену на улице, и я с радостью, готовностью, чтобы не дай бог мне подумать, принимаю объяснение — она спешит к портнихе, хотя явно степень волнения на лице никак не объясняется банальным визитом к портнихе, но я готов это принять.

Что я хочу сказать? Во-первых, должно быть так — мир так устроен, таково строение ситуации (ее логос), то есть все стало на место, если я принял [как в случае Набокова, что мой друг — любовник моей жены]; во-вторых, того, что я принял, я не вижу (это ведь не предмет, это — логос; это не есть «два и два», а нечто, что заставляет меня сказать «четыре»). И, в-третьих, самое главное, может быть, для нас — это страшно; все в нас бунтует и сопротивляется, восстает против того, чтобы сказать: это так. Очень большое мужество нужно иметь, тем более большое, что оно беспредметно, недоказуемо, хотя только так и может быть по смыслу, но доказать ведь этого нельзя и поверить в это невозможно. В каком смысле невозможно? — в психологическом смысле: человек сопротивляется.

Мы знаем, существует такой психологический закон, что самый эффективный способ врать — это говорить правду, но в такой ситуации, в которой почти что исключено (как говорят грузины,

нет варианта), чтобы в нее поверили. Я сам был свидетелем таких наглядных случаев... кстати, я хочу привести пример, который одновременно иллюстрирует по содержанию то, что я хочу сказать, и иллюстрирует мою попытку передать устройство взгляда Пруста и вообще философского взгляда, то есть за мелочью увидеть телескопом закон, или крупное (философ обращает внимание, а мы не обращаем внимания; иногда, обратив внимание, мы спасаемся, а не обратив внимания — погибаем).

Скажем, женщина находится в комнате гостиницы с любовником и по какому-то делу звонит мужу, он ее спрашивает: «Где ты?»; она отвечает: «В комнате с любовником». Какова его реакция? «Ну что ты вечно какие-то грубости говоришь...» — он не поверит никогда, а она сказала правду. Весь тот комплекс, в силу которого муж не поверил, назовем психологией, то есть мы не видим именно потому, что мы психологичны. Если бы мы не были психологичны, то есть — на философском языке — были бы онтологичны... как у Пруста часто бывало (когда есть феномен так называемой произвольной правды): он имеет мужество поверить в то, что есть в мире только актом этого же мужества, другого содержания нет. Если бы муж сказал: «Да, ты в комнате с любовником», — это был бы чистейший акт мужества, — акт, противоречащий человеческой психологии (хотя дело обстоит именно так, то есть она в комнате с любовником и оттуда разговаривает с мужем — это невероятно).

Следовательно, то, что я условно называю текстом, имеет антипсихологический заряд. Повторяю, я называю текстом то, что мы вынуждены строить, чтобы оно породило в моей голове смысл, потому что смысл не порождается психологией — психология как раз противоречит логосу, не допускает, чтобы в нас действовало нечто, что заставляет нас сказать «дважды два — четыре», хотя когда человек тебе говорит: «Я в комнате с любовником», — это и есть «дважды два — четыре».

У Пруста есть такое словосочетание: «единственная реальность»¹⁷. (Когда будете читать, обращайтесь внимание на то, что иногда идет через запятые; кому-то это покажется чем-то, просто порожденным красотой стиля, когда мы построили гладкую фразу и ради гладкости и красоты звучания стоят вот именно эти слова, а не другие, — нет, чаще всего это связано с глубоким смыслом.) Мы ведь только о реальности и говорим, да? Мы сказали, что путь к реальности лежит через текст. Он говорит так: единственная реальность — та, которую мы думаем. Вспомним, мы очень часто думаем правду, только выбрасываем ее из головы, потому что бо-

¹⁷ II (S.G.) — p. 1126 — ...un monde intellectuel... [cosa mentale cf. Descartes! — пометка М. М. на полях книги]. (З:СГ:620) — ...мир духовный, единственно реальный...

имся ее. Пруст как бы говорит нам, что как раз то, что вы думаете, и есть правда. Здесь слово «думаете» имеет значение, потому что думаете, а ведь не видите; потому что то, что мы думаем, есть то, что придает смысл, то, в силу чего десять вещей, двадцать вещей, тысячи вещей держатся вместе — связаны, становятся на место. Но само «думанное» в виде отдельного предмета не существует. Пруст выражался: тысячи ревностей, и ведь каждая из них — правда¹⁸. Ревность — не одна; она расположена в том разделенном пространстве (о котором я говорил), где есть исключения точек, — нельзя быть одновременно в двух точках, нельзя одновременно смотреть глазами Сен-Лу и глазами Марсея, если ты оказался в точке, с которой ты смотришь глазами Сен-Лу. Мы ведь не одну любовь к женщине испытываем, а тысячи разновидностей любви, расположенных в тысячах событий, в разных пространствах и временах, и так же существуют тысячи ревностей.

Так вот, Пруст говорит: мы ведь не замечаем, что все эти тысячи ревностей думали правду, то есть мы предполагали самое «плохое» (выражаясь так условно, потому что реальность не может быть плохой, она есть то, что есть, — если мы не инфантильны, конечно, а когда мы инфантильны, тогда реальность — или плохая, или хорошая). Значит, реальность — это то, что мы думали <«плохого»>¹⁹ и что и есть правда; единственная реальность — та, которую подумали (вот то — реально) и которую, как выражается Пруст, смягчает, например, *присутствие*²⁰, — скажем, присутствие любви

¹⁸ III (*Fug.*) — p. 488–489 (5:Ber:96–98) — ...то, что мне надо было в себе убить, представляло не одну, а бесчисленное множество Альбертин. (...) При разнообразии воспоминаний о ее жизни, при обилии чувств, напоминавших о ее жизни и дополнявших ее, трудно было поверить, что Альбертина мертва. Да, обилие чувств, потому что память, сохраняя мою нежность к ней, оставляла за ней право на разнообразие. Не только Альбертина, но и я представлял собой лишь цепь мгновений. Моя любовь к ней была непростым чувством: любопытство к неизведанному осложнялось позывами плоти, а почти родственная нежность — то равнодушием, то безумной ревностью. Я представлял собой не одного мужчину, а целое войско, где были без памяти влюбленные, равнодушные, ревнивцы, каждый из которых ревновал не одну и ту же женщину.

¹⁹ Здесь и далее угловыми скобками обозначены места, где из-за плохого качества аудиозаписи нам не

удалось распознать слово, или мы сомневаемся в точности распознавания.

²⁰ *Ibid.* — p. 476 (5:Ber:80–81) — Так как мне необходимо было ее [Альбертины] присутствие, ее поцелуи, чтобы переносить боль от подозрений, я со времен Бальбека взял себе за правило всегда быть с ней. Даже когда ей случалось уходить, когда я оставался один, я все еще мысленно целовал ее. И я продолжал мысленно целовать ее, когда она уехала в Турень. Мне не так нужна была ее верность, как ее возвращение. И если мой разум мог беспрепятственно поставить под сомнение возможность ее приезда, зато воображение ни на миг не переставало рисовать мне эту картину.

III (*T.R.*) — p. 1022 (6:OB:349) — ...то, что является в любви самым опасным и больше всего причиняет страдания, это не женщина сама по себе, но ее ежедневное присутствие в нашей жизни, наш ежеминутный интерес к тому, что делает она, — то есть не женщина, но привычка к ней.

мой женщины, о которой ты мыслью знаешь правду, но ее несомненное, реальное, с ее очарованием, присутствие смягчает правду и оттесняет ее куда-то очень далеко. Значит, присутствие есть один из механизмов эмоционального и духовного рабства; присутствие помогает нам не видеть правды. Так же как наш страх, скажем, помогает не видеть: увидеть реальность прямо перед собой — против этого все в нас восстает. Следовательно, что я хочу сказать? То, что мы узнаем мыслью, то, что рождается, — нет (а мысль ведь должна родиться, я показал, что она рождается не психологией, а некоей конструкцией). Есть все остальное, объяснимое иначе, а того, что мы думаем, — нет. Короче говоря, мы оказываемся в ситуации, которую я выражу так: то, чего нет, мы должны видеть; и верить этому больше, чем тому, что есть и что мы видим.

Повторяю, вся проблема в том, что как раз то, чего нет, мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть. Тем самым, этой закрученной фразой, я объяснил, казалось бы, кристально ясную, но обманчивую в своей ясности фразу из Евангелия: «Веруйте в свет, да будете сынами света»²¹. Здесь две опоры. Первая: «Веруйте в свет» — именно вера требуется, потому что его-то нет; он есть только на одно промелькнувшее мгновение. Его нет; значит, нас обязывают верить в то, чего нет, и, как я сказал, верить в это больше, чем в то, что есть. «И будете сынами света» — второй аккорд, то есть будете сынами того, чего не видите, но во что верите, а я уже говорил, что — верите силой построения конструкции текста, не психологии.

Значит, вы рождаетесь в этих своих мыслях — из чего? Из синтаксиса (помните, «синтаксис молнии»?), или из формы (логос есть нечто формальное). Флобер говорил, что идея (некое содержательное состояние в нашей голове) есть нечто, существующее только в силу формы²², — вот поди пойми это. Можно это назвать формализмом (если перевести в литературоведческие категории, можно обозвать это стилистическим формализмом — чем угодно), но в действительности речь идет не об этом, и нет здесь никакого формализма. Конечно — только силой формы [существуют состояния, называемые нами идеями]. Ведь то, что я думаю, и то, чего нет, может быть только формальным. Когда я сказал: придать смысл, придать логос — то логика ведь есть нечто формальное. По содержанию, я сказал, что все элементы этого содержания, как выражаются англичане, могут быть *explained away*; в переводе на русский язык (я предложу неловкое слово) — могут быть «отобъяснены». То есть в нашей жизни действует психологический закон:

²¹ Ин. 12:36.

²² Poulet G. *La Distance intérieure (Études sur le temps humain, vol. 2)*. Paris: Plon, 1952. P. 360–363.

мы процедуру объяснения применяем как нечто, посредством чего мы избавляемся от того, что надо было бы объяснить, или как нечто, посредством чего мы умудряемся не увидеть того, что должны были бы увидеть. Жена шла к портнихе... — пример отобъяснения; есть и более сложные отобъяснения.

Приведу социальный случай отобъяснения, очень яркий; он показывает, как функционирует наше мышление, когда мы нормальные кретины, то есть когда мы психологичны (а чаще всего мы нормальные кретины). Это происходило в пятидесятом году, я тогда, окончив школу в Тбилиси, уехал в Москву, в университет, и попал в неожиданную для меня ситуацию очень интенсивной комсомольской жизни, что было каким-то непонятным мистическим событием для тбилисского школьника; я вообще не понимал, что происходит, что это за люди и как можно сидеть на этих собраниях, коллективно ходить в кино, читать книги и так далее — полная мистерия. Естественно, я часто оказывался предметом проработок. Я помню (врезалось в голову, даже физически вижу это), отвратительная была зима в Москве, мокрая; мы идем по улице Горького мимо теперь исчезнувшего кинотеатра (был такой кинотеатр «Центральный», там, где сейчас здание издательства газеты «Известия», по-моему, — на Пушкинской площади), и рядом со мной комсорг нашей группы. И вот я даже на улице оказался предметом очередной такой комсомольской проработки. (Кстати, я этот пример привожу, поскольку я философское животное, я, так сказать, заиклен на этом и не могу не быть философом. В данном случае хочу обратить внимание на то, что со мной случилась мелочь — то, что я сейчас расскажу, — а философия состоит в том, чтобы увидеть за этой мелочью закон (по Прусту, нашему милому Прусту): нечто более крупное и общее.) Во время возвышенных его (комсорга) речей (он сам гладенький такой был человек) к нам, в этом отвратительном бурале из мокрого снега, подошел мальчишка лет десяти, нищий, и просит подавание. (Кстати, звали комсорга Марлен — тоже хорошее имя, — когда оно мужское, оно составное, как мы знаем²³.) Я ему говорю: вот смотри, передо мной человеческая нищета, горе. Мальчишка полураздетый (мне и то холодно, хотя я в пальто), голодный, а думать о том, что он, может быть, на самом деле богатый и этим просто зарабатывает, бессмысленно. Ни один нормальный человек, увидев нищего, не станет думать, что на самом деле он может быть гораздо богаче тебя, — ты видишь реально. Марлен посмотрел на меня с недоумением, но искренним недоумением. Дело в том, что он этого мальчика не видел, он его не воспринимал, поскольку он не был событием в его про-

²³ Марлен — имя-аббревиатура: Маркс–Ленин.

странстве (вспомним, я ввел понятия: «пространство номер один» и «пространство номер два»; «пространство событий — номер один» и «пространство безразличное — номер два»). Этот мальчик не был в пространстве его событий. Почему? По одной простой причине: он не видел, то есть он не мог испытать ни состояния волнения, ни состояния огорчения, ни состояния сочувствия; это все психологические, казалось бы, произвольные состояния, но он не мог испытать их, потому что этот мальчишка в его теоретической иерархии общества уже занимал место. Какое место? Очень простое. Мы сейчас находимся на первом этапе коммунизма, и на этом этапе (до второго этапа) между людьми есть разница: одни беднее, другие богаче. Поскольку мальчик уже был объяснен (я говорю это к тому, чтобы объяснить, что такое *explained away*), можно было его не видеть, то есть в свое сознание, в свою способность волноваться и переживать не допустить через экран событие, которое физически происходит у тебя на глазах (оно ведь физически происходит, а ты его не видишь). Он его (событие) не допустил; как был в возвышенно-комсомольском настроении, так в нем и остался. А я взволновался, потому что у меня не было этого объяснения.

Подумаем сами, сколько таких ментальных ситуаций, когда мы видим происходящее, и как часто мы не находимся в ментальных ситуациях. Есть как бы магнитные поля, в которых мы можем находиться и видеть что-то вне этого поля или не видеть. Поле разворачивает наши мозги и глаза таким образом, что мы видим или не видим, хотя, казалось бы, нельзя не видеть. Ну как можно не видеть страдающего, замерзшего, нищего, голодного мальчика? Оказывается, можно не видеть. (Теперь попробуем перенести эту структуру на гораздо большее число всех жизненных случаев — на чтение нами книг, на случаи любви, ненависти и так далее. Вот видите, как мы далеко уходим, занимаясь Прустом. Я, казалось бы, отдаляюсь от него, но в действительности я иду по Прусту почти текстуально.)

Значит, я закрепляю: есть состояния, называемые нами идеями, которые существуют силой формы, а форма, как мы знаем, конструктивна, то есть она строится. Формы сами не бегают, формы рождаются жизнью, но формы рождаются, или создаются, изобретаются, и людьми, в том числе они изобретаются в искусстве, в литературе.

Пойдем дальше. Я один момент упустил, а он довольно-таки важен. И так дело сложно, но во всей этой ситуации магнитных ловушек или конструкций, в которых мы живем, есть еще один осложняющий момент. Есть конструкции, которые не позволяют нам видеть, — назовем их конструкцией Марлена; есть конструкции, позволяющие видеть, — назовем их конструкцией Пруста (я при-

водил пример Сезанна — яблоки, посредством которых мы видим), то есть это текст, посредством которого мы читаем наш опыт; и в этом чтении опыта, которое антипсихологично, то есть направлено против основных тенденций нашей психики, нашей психологии как человеческих существ, есть еще одна загвоздка. Во-первых, пометим следующее: механизмы страха — ведь я не вижу, чтобы избежать страха, то есть избежать того, что я боюсь. Истина это очень часто то, чего я боюсь; я боюсь ее увидеть, поэтому я могу ее не видеть; потом в силу слоистости нашей психической жизни я даже забываю, что я не видел ее, потому что боялся, на следующих этажах даже сознание того, что я избегал истины из-за страха, исчезает. Есть психологические механизмы надежды — мир ведь водит нас за нос, в том числе и психологическим механизмом надежды: завтра все исправится, дом, по которому прошла трещина, каким-то чудом можно будет отремонтировать (я в прошлый раз говорил, что нельзя ремонтировать дома: если дом треснул, нужно строить другой).

Беда в том, что эти психологические механизмы прекрасно аккомодируются — не ассимилируются, а аккомодируются — то есть не противоречат нашим логическим операциям, операциям рассудочного мышления. Операции рассудочного мышления вполне уживаются с психологическими механизмами (механизмами страха, надежды и так далее; отобъяснение — это тоже механизм). Повторяю: все операции нашего рассудочного, прикидывающего мышления (назовем их логическими) — мы что-то наблюдаем, описываем, делаем выводы — уживаются с этими психологическими механизмами и не противоречат им. Мы можем мыслить, то есть совершать логические операции, так и оставаясь в ирреальности, не приходя к реальности. Сама по себе логика (в смысле логических операций рассудочного мышления) не выталкивает нас на путь истины, того, что есть на самом деле, поскольку, как я сказал, логические операции нашего прикидывающего, соображающего мышления уживаются с психологическими механизмами и не противоречат им. В этом смысле можно сказать, что наша реальность имеет структуру сновидения. Это тоже одна из проблем Пруста. Он говорил: нечто, что мы называем действительно жизнью, — разорвано, беспорядочно, вызывает непонятные боли, непонятные радости и больше похоже на сновидения. «Жизнь наша — как сон»²⁴.

²⁴ III (Pr.) — p. 147 (4:Пл:169) — ...мы с остервенением копаемся в ломких осколках сна, и наша жизнь все с той же возлюбленной, наша жизнь, проходящая мимо того, что должно быть важно для нас, внимательная к тому,

что, быть может, для нас не важно, окошмаренная существами, которые в действительности никак с нами не связаны, жизнь, полная провалов в памяти, пробелов, беспричинных тревог, наша жизнь похожа на сон.

Действительно, то что мы называем реальностью, чаще всего имеет структуру сновидения. В каком смысле? Какова структура сновидения? (В упрощенном, конечно, виде, я не берусь претендовать на то, что эта вещь действительно проста и мы ее понимаем.) Я имею в виду простую сторону этого — есть такой закон сновидения: по содержанию своих видений сон строится таким образом, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться; сон как бы имеет структуру отобъяснения. Скажем, звонит будильник, я не хочу проснуться, и в короткие мгновения, когда еще звучит звонок (в действительности короткий, а во сне он кажется длинным), сон разыгрывает целую сцену, которая придает такой смысл этому звуку, что этот смысл позволяет мне не проснуться. То, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из представлений, образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. В данном случае слово «спать» означает не знать и не видеть реальности, и в этом смысле реальность имеет структуру сновидения. Жизнь есть сон в этом смысле слова. Вот такая психологическая закавыка. Более того, здесь есть еще одна проблема, на которую хочу обратить внимание.

Фактически мы сказали, что форма, текст есть нечто, что должно быть построено, чтобы конструктивно породить во мне понимание, потому что это понимание естественным психологическим путем породиться не может. В частности, для порождения такого рода состояния понимания служат литературные тексты, или это может быть текст жизни. Например, образ и жизнь Христа есть текст, посредством которого мы можем читать (а можем не читать) наш жизненный опыт. Он организовал некий логос, в пространстве которого события получают осмысленный и связный вид, а не рассеянный и рассыпанный. (Иногда религиозная метафорика может помочь нам понять законы нашей жизни и устройство нашего сознания.) Все это фактически означает следующую вещь: нечто производится в нас (нечто — наше понимание) не нами, произвольно, как психологическими существами, а силой закона, силой формы. Скажем, идея существует силой формы.

И вот Пруст пишет — теперь все эти вещи мы должны связать вместе — о Сен-Лу: «...все, что он узнал бы о Рашель (то есть если бы Марсель ему сказал: послушай, я видел Рашель в доме свиданий, она там продавалась за двадцать франков; но вся закавыка состоит в том, что Сен-Лу этого не воспринял бы, этого знания для него не существовало; все эти сведения — «он узнал бы» — назовем знанием, и я хочу показать, что знание есть одна из таких вещей, которые в эту точку, в это пространство не проникают, поэтому нам эта точка пространства будет важна, ее свойства мы должны описать, чтобы понять самих себя),

не заставило бы его [сойти с дороги, на которой он находился и на которой это лицо (*лицо Рашель*) являлось ему через мечтания, которые он порождал]²⁵. Вот это важный психологический момент для всего нашего движения по тексту Пруста. Истина, казалось бы, существует. Пруст говорит: если бы ему сказали, то есть если бы ему было сообщено это как знание (то есть извне), это не заставило бы его сойти с дороги, на которой это лицо являлось ему в облаке мечтаний, им же самим порожденных]²⁶. (...)

²⁵ II (С.Г.) — р. 159 (2:Гер:159) — ...не могло бы заставить его (...) свернуть с дороги, на которой он стоит, на которой лицо любимой женщины видится ему только сквозь его мечты.

²⁶ Восстановлено по архивному экземпляру расшифровки аудиозаписи. В сохранившейся в архиве аудиозаписи этот фрагмент отсутствует.